чем-то к повети; что Маня его что-то улаживает на возу. Ничего особенного не подумала, только н мелькнуло в мыслях, что вот-вот тоже выедут; однако все же возникло какое-то беспокойство. С этой обеспокоенностью смотрела и на прежний свой двор, где отец запрягал коня, а мачеха кормила поросят, и на полоски зеленого жита, и на ряды первых ростков картошки.

У черного креста, что был за селом, Глушак, а с ним и старуха и все, кто сидел на возу, перекрестились. Ганна перекрестила и себя и дочку, которая спокойно, сладко спала в своей постельке. Ганна так рада была этому сну, что только и беспокоилась, как бы не разбудил ее какой-нибудь толчок; когда дорога становилась неровной, брала люльку на руки и держала, пока колеса снова не начинали катиться мягко...

За свободным простором поля воз вошел в тесный, по-утреннему хмурый и сырой сосняк, стали нападать со всех сторон, одолевать комары. Ганна и тут пожалела закутывать маленькой родное, нежное личико: все время над личиком заботливо махала ладонью. Уже когда из сосняка съезжали в мокрые, с лужами, колен в чащобах ольшаника, услышала, что сзади кто-то нагоняет. Потом увидела поблизости Василева коня, самого его. Выбрав удобное место, он стегнул коня, заслоняя одной рукой голову от ветвей, быстро обогнал их и скрылся за поворотом дороги. В это мгновение ей вдруг вспомнилось, как где-то здесь он обгонял когда-то ее с отцом; где-то здесь порвалась у него тогда супонь, несчастный, покрасневший, он связывал ее заново. «Теперь не порвется, — промелькнуло в Ганниной голове. — Теперь у него не такие супони. Хозяин». Почему-то вспомнилось, что слышала про него и жену: «Говорят, не очень он доволен Маней своей...» Вспомнилось без сочувствия, словно с какой-то радостью...

Разбуженная память вмиг воскресила почти, казалось, забытое: как вместе разводили костер, онемевшие от первого ощущения взаимности, от близости; не только в памяти, а и в сердце ожило, как легко, радостно было смотреть, что он медлит, не отваживается лечь рядом. Странно было, как четко помнилось все, до самых мельчайших подробностей. Помнилось все; но, вспыхнув на миг, все сразу же и погасло: лишь на мгновение память смутила душу. Через минуту казалось, будто всего этого и не было, будто все выдумано.

«Три года... четвертый уже...» — только и отметила про себя.

За далекой далью виделась теперь Ганне свободная, озорная молодость. Все реже и реже воскрешала память картины, события милой давности. И не было времени особенно углубляться в воспоминания, и не было желания: зачем бередить, тревожить душу напрасно. Зачем цепляться за то, что навсегда отошло, уплыло в вечность: когда надо было, собственной волей гнала призраки милой, вольной поры. Сначала с трудом гнала, потом они и сами не очень одолевали, будто уже боялись подступиться.

«Три года... четвертый уже...» Когда Глушакова телега выкатилась из темной, залитой водой лесной дороги на зеленое, открытое болото, Ганна вдруг непроизвольно повела глазами: вон то место, где они ночевали в ту ночь. Глянула и сразу же отвернулась, не смотрела больше туда, только следила за дочуркой...

2

Когда Василь обгонял Глушаков, в нем появилось что-то нетерпеливое, сильное и как бы мстительное. Пусть видят, пусть все видят, пусть она глядит! — жило в нем, подгоняло его сильное, мстительное это чувство. Обогнав, не защищаясь уже от ветвей, горделиво выпрямившись, он ощущал на спине взгляды всех, кто сидел там, на возу, и среди них особенно — мстительно и по-юношески радостно — ее взгляд. И все время, когда уже Глушаки скрылись за одним, за многими поворотами извилистой дороги, чувствовал он эти взгляды.

Непрестанно подгоняя коня, резво выехал он на солнечную ширь луга, с удовольствием отметил, что народу еще немного. «Не опоздал», — будто похвалил свою хозяйственную расторопность. Телега бежала у самого леса, вдоль наделов; за несколькими безразличными для него наделами приблизился, поплыл перед глазами странно небезразличный, словно свой, Чернушкин. «И етих нет!» — привычно подумал он, не радуясь и не жалея; думая это, Василь нетерпеливо шарил глазами по Чернушкиному наделу, неспокойно искал чего-то. Когда увидел лужок недалеко от разросшегося куста, в нем затеплилось сладостное, доброе и словно бы завистливое: «Там!.. Там было!..» Будто совсем недавнее, не пережитое еще, взволновало необычайное настроение той незабываемой ночи, с которой началось тогда самое лучшее в его жизни.

Почти сразу же в радость воспоминаний прокралось недоброе сожаление, и Василь нахмурился; не столько вспомнил, сколько почувствовал: между той ночью и этим днем — межа, которую уже не переступишь. Как бы поймав себя на мысли неразумной, недостойной человека самостоятельного, спохватился, упрекнул себя строго: нашел глядеть куда, чем соблазняться! Как жеребенок, которому еще рано в оглобли! Зрело, степенно приказал себе: «Было — сплыло! Дак, значит, что и не было!..»

С этим настроением он доехал до своего надела, остановил коня, соскочил с воза, твердым хозяйским тоном приказал всем: матери,

Мане, Володьке — снимать с воза привезенное; сам вытащил косу, менташку[1], сумку с салом, проследил, как мать ставит на траву люльку для маленького. Исподлобья посмотрел на Маню, что стояла рядом, с сыном на руках, ждала, когда мать подготовит постельку. Строго, даже жестко сказал себе: не вольный казак, вон «оглобли» — жена. Не торопясь, без единого лишнего движения, как человек, который привык делать свое дело, распряг коня, властно позвал меньшого брата, шаркая босыми ногами в высокой мокрой траве, с веревочным путом в руке, повел коня к опушке, где пасли своих лошадей другие. Спутал, пустил пастись.

— Чтоб глядел хорошо! — наказал строго Володьке.

Паренек, подстриженный по-овечьи рядками, в домотканой рубашке и домотканых, мокрых от росы штанах, клятвенно пообещал:

— Буду глядеть!

Василь, тем же размеренным шагом, вернулся назад, достал из-под сена лапти и рыжие онучи, сел на росную траву у воза, обулся. Тут же, у воза, воткнул косье в мягкую землю; крепко держась рукой за пятку косы, стал точить. Поточив, надел менташку на кисть руки, выпрямился, как бы оценивая обстановку, осмотрелся: на луг въезжали и въезжали телеги с мужчинами, женщинами, детьми. Луг на глазах все полнился людьми, движением, разноголосицей. Поодаль Василь различил Корчей: там копошились у телеги. На сук дубка прилаживали люльку...

«Нечего!» — снова он недовольно сдержал себя. Угрюмый, сутуловатый, с неподвижным и упорным взглядом из-под размокшего от дождей козырька, грузно уминая лаптями траву, двинулся он к углу надела, откуда надо было начинать. Остановясь на углу, запустил косу в траву, набрал в легкие воздуха и сильно, широко, с какой-то злостью повел косою. Мокрая, блестящая от росы трава покорно, неслышно легла.

Сильно, почти ожесточенно Василь шел и шел на траву, упираясь расставленными ногами в прокос, переступая лапоть за лаптем, водил и водил косою справа налево, заставлял траву ложиться в ряд, отступать все дальше и дальше. Это был уже не тот зеленый юнец, который водил косой с гордостью, который ревниво следил за тем, где дядько Чернушка, гадал, как поглядывает на него, Василя, она; теперь шел здесь мужчина, широкий в плечах, с крепкой, загорелой шеей, с крепкими, знающими свое дело руками, сильными, уверенными ногами; шел привыкший уже к своей нелегкой обязанности косаря, к неспокойному положению хозяина, главного человека в хате. Не торопясь, не напрягаясь очень, бережливо тратя силу, мерным, опытным движением водил он косою, клал и клал траву в ровный ряд слева.

«Нечего! Нечего!» — как бы говорил он себе с каждым взмахом косы. Но когда остановился и, распрямив спину, принялся точить, вновь невольно повел глазами по лугу, нашел: Корчи косили — старик, Степан и этот выродок — Евхим. Ганна склонялась над люлькой, что белела под дубком. «Нечего!» Он хмуро отвел глаза, настороженно посмотрел на своих, перехватил острый взгляд матери. Следила опять, будто подстерегает. Будто читает мысли. Маня, толстая, сонная, сидела на траве, кормила дитя.

«Не выспалась опять! — подумал неприязненно. — И сидит, как тесто из квашни...» Он отвернулся, сдерживая неприязнь, глянул на опушку: конь мирно щипал траву. Володька рассуждал о чем-то с Чернушкиным Хведькой. «Сторож мне! — подумал, будто вымещая на Володьке недовольство. — Такой сторож, что гляди и за конем и за ним!..» Он снова размашисто и зло повел косой.

Захлюпала вода: началось поблескивающее, кочковатое болото. Трава, заметно ухудшаясь, выступала из еще неглубокой воды, кустилась весело на кочках. Трава — не трава, осока, — и косить тяжелей, и радости мало. Ноги утопали все глубже, вода доходила до икр, до колен, обжимала ноги; штанины прилипали к телу. Василь не обращал внимания на это: со злостью, которая странно не проходила и о причине которой он уже не помнил, водил и водил косой. Чем дальше он шел, ровно, шаг за шагом, тем больше тело его — руки, ноги, спина — наливалось расслабляющей истомой, приятной, хмельной, как после водки. Он боролся с ней с каким-то задором. Он был захвачен ритмом, наступательностью работы. Что ни взмах, пусть на длину лаптя, он шел и шел вперед, отдалялся оттуда, где начинал, приближался туда, куда должен был прийти. Каждый взмах его был полон простого, понятного смысла. Полон того обязательного, серьезного, хозяйского, чем жили и живут все мужчины, хозяева, и чем надо жить ему.

Усталость все больше наваливалась, но он не сетовал, как и на комаров, что назойливо вились, впивались в лицо, в шею. Как нет болота без комаров, так нет и труда, знал он, без усталости. Когда работаешь, усталость неизбежна. Иначе и быть не может. Когда работаешь, в том и задача вся, чтобы не поддаваться усталости, осиливать ее, наперекор ей идти и идти. Привыкший терпеть, захваченный наступательностью, ритмом косьбы, он как бы неохотно и останавливался, выпрямлялся, чтоб поточить косу. Минуту стоял, воткнув косье в болото, неуверенно, горячими дрожащими руками

[1] Менташка — дощечка для точки косы.

Будто огнем выжгло в Ганнной душе сочувствне, жалость к нему.

Чувствуя, как ноют плечн, болнт все тело от Евхнмовой «ласкн», утешалась воспомнананнями о встречах с Васнлем, радостью встреч, н таких еще недавннх, ощутнмых, н тех, которые, казалось, давно уже забылнсь.

И весело н горько было от тех воспомнананнй. Что она отдала бы теперь за то, чтобы снова вернуть беззаботное, неразумное счастье, которое когда-то само шло к ней! Чтоб не Евхнм, а Васнль был рядом — пусть молчалнвый, хмурый, недовольный какой-лнбо неудачей, порой пусть несправедлнвый, недоверчнвый к ней, но все ж — желанный, любнмый, родной. Однн любнмый, однн родной, однн на всем свете.

В темной, душной тншнне бессонных ночей упорно, неотвязно терзалн Ганну мыслн-мечты: как бы снова встретнться, хоть на мгновенне, хоть однНм словом перемолвнться! В горячечном, возбужденном воображенни, как сон наяву, возннкалн добрые, счастлнвые картнны: встретнлнсь неожнданно, когда шла по загуменью к свонм. Ннкого кругом. Только он да она; Васнль так обрадован, что внднo: ждал, не мог дождаться. Стонт, молчнт, только жмет руку, так больно жмет, что терпеть, кажется, невмоготу. Но ей будто н не больно, пусть жмет, пусть!.. А вот — на поснделках она, прядет с женщннамн кудель; зашлн несколько мужчнн, поговорнть, и он среди ннх. Сндит, молчнт, не говорит ей нн слова. И она молчит, не глянет даже на него — знает, что женщнны следят. Не смотрит на Васнля, а сама все вндит. Все понимает, как бы мыслн его чувствует. И он все как бы чувствует... Взяла прялку, пошла будто домой... Он чуть погодя — за ней... Снова — вдвоем, как когда-то у плетня... Темень, дождь моросnт, а нм — хорошо-хорошо...

Мыслн-мечты часто останавлнвал, отрезвлял рассудок — раздумывая, поннмала: напрасны ее надежды, болезненные сны. Напрасны не потому, что за ней следят, что в неволе она, а больше потому, что не волен он.

В такне мннуты казалась себе страшно, безнадежно однНокой. Душу охватывало отчаянне, н с обндамн, что полннлн Ганну, все чаще врывалнсь, овладевалн ею, тревожнли лнхорадочные мыслн: кончнть все разом, в однн момент! Немного страху, мннута болн — н нн Корчей, нн мукн ннкакой не будет! Чертово око на Глнннщанском озере успоконт сразу!..

За мннутамн безнадежностн н отчаяння прнходнла вера н решнмость: не все еще потеряно! Все можно еще поправить: свет велнк, есть на свете место для ее н Васнлева счастья! Разве ж не видит она, что не любнт Васнль свою Маню! Позвать, пойтн с ннм хоть на край света, к счастью своему!!

Как ннкогда, постылой была ей теперь глушаковская хата-могнла. Как в неволе, в плену, окруженной со всех сторон врагамн чувствовала себя Ганна нзо дня в день. Как н прежде, делала она, что надо было, но делала будто заведенная, полная в душе неприязнн н ненавнстн ко всему, что было глушаковскнм добром, глушаковской утехой. Не раз, не два кляла она в мыслях Глушаковы саран, Глушаково гумно, Глушаковых свнней, овечек, Глушаковых собак. Кляла, звала с молчалнвого неба погнбель на все.

Целымн днямн, бывало, не перебрасывалась она нн с кем словом, не смотрела нн на кого. Не пыталнсь заговорнть с ней н онн, только однн Степан нензвестно почему тянулся к ней, не сводил преданных глаз, но она не хотела замечать нн его прнвязанностн, нн его самого.

Так н жнлн: молчалн, когда управлялнсь в хате, когда работали в хлевах, в гумне, молчалн за столом. Всюду н всегда былн непрнязненными, чужнмн — врагамн, которых судьба, будто в нздевку, свела под одной крышей.

6

В тот самый день, когда слух о встрече Васнля н Ганны проник в хату Глушака, дошел он н до Дятлнковых. Первая узнала об этом мать Васнля, которой передала нежданную новость Вроде-Игнатнха. Обеспокоенная, очень встревоженная, Дятлнха н внда не подала, какнм тяжелым камнем легла ей на сердце опасная беда.

Не показывала она тревогу н свонм. Только по тому, как посматрнвала время от временн то на Васнля, то на Маню, как следнла за ннми, можно было догадаться, что гнетет, давнт ее беда. Скрывая страх свой, ласково ходнла она около Мани; чем только могла, старалась помочь, угоднть — будто хотела утешнть, смягчнть обнду, что нанес Васнль.

— Хорошнй какой! — склонялась рядом с Маней над люлькою с Васнлевым сынком. — Агу-агу!.. Разумный же какой!.. Такой маленькнй, а уже поннмает, что к чему!.. Смеется! Агу-агу!

Маня, как всегда медлнтельно, леннво, делала свое, плавно, осторожно носнла располневшее тело. Мать Васнля, глаз не спускавшая с нее, заглушая тревогу, успоканвала себя: «Не знает ннчего»; успоканвала, но успокоение не прнходнло: чувствовала, что блнзок час, когда до нее, до Манн, все дойдет. Дойдет, не обмннет, н до ее отца, н до нее дойдет. У Дятлнхн прямо нз рук все валнлось.

За тесной хатой, в которой онн еще ютнлнсь, тюкалн топоры, былн слышны мнрные голоса плотнnков: рубнлн новую хату. Сруб был уже

сложен, ставнлн стропнла: смотри да радуйся, кажется — вот-вот можно будет перебраться! А тут вдруг — такое! И если бы ставнл стропила другой кто-либо, а то ж Прокоп сам, Маиии отец, с Петром, Манным братом. И лес возилн, н отесывалн бревна вместе, вместе рубили, и срубнли ж — смотри не насмотришься: видная, просторная, иа две половнны, хата, какой иикогда ие было бы у них, Дятликов, одних. Нарадоваться не могла за Васнля: добнлся своего, добнлся, чего хотел, — в люди, счнтай, вышел; сам вышел н семью всю вывел! И вот — иа тебе!.. Забыл давно, думала, Ганиу, забыл — и вспоминать не вспомииает; так иет, оказывается, — и не забыл, н не остыл. Снова загорелся, снова потянуло к ней, как на беду! То-то смутный был в последнее время, все скрывал что-то, хозяйствовал без прежней охоты, хмурнлся, будто сожалел о чем-то! Она гадала, что за причина, боялась: заболел, может, — так вот она, та хвороба!..

Давио не было у Дятлнхи такого беспокойства, как в этот деиь. То около Манн ходила, то выбегала во двор посмотреть иа Прокопа с Петром, на Васнля: Прокоп с сыном работали, как н прежде, спокойио, ннчего еще ие знали. Следнла за улицей, за соседннми дворами: казалось, кто нн шел мнмо, все занитересоваиио, иасмешливо поглядывали иа окиа, на сруб, иа котором усердствовали мужчины.

Богатого борща наварнла, хлеба большую буханку подала, сала добрый кусок достала, нарезала на сковородку. Когда внесла нз кладовки потную бутылку самогонки, обтерев фартуком, поставнла иа стол, Прокоп глаза нз-под черных навесов-бровей уставнл уднвлеиио.

— Погрейтесь с холоду! — сказала сочувственно, радушно.

Прокоп промолчал, а Петро довольио покрутил головой, засмеялся:

— Расщедрнлися иешто вы, тетко! Не входнны лн ето собираетесь справить сегодня?

«Ага, входины!» — чуть не вырвался у Дятлнхн печальный вздох, но оиа тотчас же отогнала печаль, пошутнла:

— Боюсь вот, чтоб горелка не усохла! — Дятлнха заботлнвой хозяйкой засуетилась около Прокопа н Петра. — Погрейтесь, тружеиикн вы нашн! Холодно стало. И до знмы, можио сказать, далеко, а уж так холодно!.. Ето ж и виизу, как дохнет ветер, дак будто пронизывает холодом!.. А там, иаверху, дак и околеть, иаверно, недолго?..

— Да иет, ие очень. Некогда мерзиуть! — весело ответил Петро.

— Все-такн погреться иелншие!

— Да может, что н иелншие...

Только взяли стаканы да чарочкн, как мнмо окна проплыла фигура: лесник Митя. Лесник ие задержался в темиых сенях, прошел уверенио, как в своих; уверенио, как в свою хату, вскочил перед инм желтый, с ободраиными бокамн лесиков пес.

Митя переступнл, пригибая голову, через порог, сказал: «Помогай бог!» Не дожидаясь прнглашення, поставнл ружье в углу возле печи, смачно крякнул:

— Как чуял, в самый раз!

— Ага. Угадал, Мнтечко!

Василь встал, уступнл ему место поближе к углу, пододвинул свою чарку. Преспокойно, как дома, полез Митя за стол: почти своим человеком стал с той поры, когда иачал заготавлнвать Васнль лес на хату.

Спокойно, важно ступая, отправился под стол н лесиков пес.

В другое время Дятлиха, угощая Митю, только удивлялась, как он пьет, — ие пьяиеет, только что лнцо будто темной кровью иаливается; уднвлялась, жалела втайне, сколько водки, добра ин за что пропадает. Сегодия ж оиа и иа иего смотрела иначе, чем всегда: язык у лесиика дурноватый, погаиый; того н гляди, спьяну ляпнет о том, чего боишься!

— Закоичите уже скоро! — сказал Митя, опрокннув чарку, закусывая хлебом с жареным салом.

— Да уже и немиого, сказать! Только что холода спешат, как на вороиых, — отозвалась живо Дятлиха.

Тревожась, как бы Митя не ляпиул чего-иибудь, оиа как начала, так и не уиималась почтн, говорила первое, что придет в голову, только бы не молчать, только бы ие дать Мите развязать язык. Бывало, ее раздражал желтый пес, что все время то вертелся, путался под ногамн, то даже стаиовился, цеплялся передиими лапами за край стола, смотрел воровато, чего бы урвать. Прокоп косился иа этого иахала и сегодия, одни раз даже так двииул иоском лаптя, что собака упала иа бок и грозно зарычала; Дятлиха же следила за лохматым гостем с необычайиой снисходнтельностью. И обращалась к иему мнрно, н кость кннула, и похвалила даже; умная какая, мол, собака!

Почувствовала себя иемного легче, когда Прокоп, обтерев бороду, стал вылезать нз-за стола, валко, неуклюже двинулся во двор. За Прокопом быстро вышли из хаты и Петро с Васнлем. Митю и желтого пса Дятлиха проводила сама до калиткн. Радуясь, что все пока обошлось, очень ласково просила оиа лесника, чтоб ие обижался, что водки было мало, чтоб заглядывал в другой раз, не обходнл стороной...

Беда все же прншла вскоре. Пришла оттуда, откуда больше всего и боялась Дятлиха, — прямо с улнцы, прямо к Прокопу. Придурковатый Бугай Ларивон, шагая посреди улицы, скучный и почему-то злой, остаиовился иапротив сруба, крикнул задиристо: